С. БОБРОВ

Контуженый разум[1]

Русский читатель давно уже привык к странным и странно-настойчивым воплям о "кризисе сознания", воплям, которые стлались по-над русской литературой трудами символистов-писателей, а тем паче и острее символистов-философов вроде Бердяева, Булгакова и тутти кванти. Впечатление распылялось: то ли это поистине дело, - и куда нам тогда деваться, если это так? - либо это чепуха непроходимая, хлыстовский вертеж интеллекта, в ужасе спасающегося в это уединение параноика - от мира и жизни, - а тогда зевота нестерпимая хрустела в ушах. Писатели эти равнялись жизненно по "хаосу", предвечной недифференцированной материи, подсознательное и бессознательное были их душевным субстратом (вот почему так сосали они Тютчева и опасную сладость его разложений), болезненно-существенное начало тащило их, как пьяницу на блеск бутылочного стекла, к Достоевскому... отсюда сваливались они в религию. Цыплячье сознание выплевывало жизни в лицо глупейшее "не приемлю", но тут же холодные струи страха убивали в нем окончательно всякую способность соображать: - пусть весь мир "не приемлет" самого себя, - тогда, по мере крайней, не так жутко будет отрекаться от самого себя.

Этих людей читать не надо, но изучать историю этого коллективного сумасбродства необходимо точно и детально. Вот как вертелся мир перед кровопусканием 1914, и вот какие индивиды собирались спасать его от этой самой вертячки - этой же самой вертячкой. Вы легко уследите эти цепи разложений, эту потерю чувства равновесия, чувства верного и неверного, эту нелепую страсть к смерти, и страстную жажду схемы, схемы и схемы. "Бездна верхняя" и "бездна нижняя", Аполлон и Дионис, лунное и солнечное... да, этим полюсам нет конца, - высшее же удовольствие получалось при объединении всего добра воедино: - помирить, например, Бога с чертом, что и достигалось в применении к пословице о кочерге и свечке. Этим способом всерьез любая мораль нивелировалась до средней арифметической между Богом и чертом, далее эта средняя приравнивалась человеку, - философ многозначительно упирался лбом в эту стенку, а через страницу вся канитель заводилась с начала. Но здесь на примере видно, что привело коллективную душу земного шара к этой удивительной резне, прекратившейся только тогда, когда несколько стран были выпиты дочиста и резать там уже было некого. Не осмелимся все решать журнальной статейкой, - но разве не ясно было: мир живет какой-то колоссальной несправедливостью, он должен за нее ответить. А наши приятели-писатели играли в жмурки с этим духовным банкротством обезопашенного якобы мира. Изучать их надо с микроскопом - каждую клеточку; вот где в мире дыра: - осторожнее, не оступитесь, ребята!

Так выли в России; казалось, что остекленная, забетоненная и в сталь бронированная Европа не боится таких ужасиков, ибо пережила своевременно Торквемаду и не думает к нему возвращаться. Но с войной, похоже, переборщили. И вот теперь, когда над Немецким морем еще носятся проклятья захлебнувшихся дредноутов, над Фландрией еще предсмертно пулеметит затравленный танк-призрак, а тени героев, погибших в порядке коэффициента рассеяния митральезы - лезут вам в душу из каждого костыля и с каждого слова одуревших от миллиона пройденных отступлений и паник - в Германии контуженный войной разум Освальда Шпенглера объявляет конец мира в плане полного и окончательного израсходования Европой культурных возможностей.

---

[1] Красная новь, 1922. 22 (6)

Во избежание недоразумений оговоримся заранее: Шпенглера самого нам прочесть не удалось, мы говорим о нем на основании сборника "Освальд Шпенглер и закат Европы" (сборник статей Н. А. Бердяева, Я. М. Букшпана, Ф. А. Степуна и С. Л. Франка, к-во "Берег" М. 1922, стр. 96), статей Евг. Браудо и Д. Шиковского, помещенных в N 1 журнала "Начала" да бесед с людьми, которым довелось читать Шпенглера.

Духовная паника не новая миру вещь: ее достаточно наглотались в средние века, но сейчас это любопытное явление общественной психологии вырастает снова. Тридцать три тысячи книг Шпенглера распродано в Германии. До 1918 года о нем не слыхал никто, кроме учеников реального училища в Бонне, а теперь уже образованы скопища людей, "изучающих" историю мира с его, шпенглеровской, точки зрения.

Шесть авторов, помянутых нами в примечании, относятся по разному к Шпенглеру, но все сходятся на одном - это человек чрезвычайно талантливый. "Никто не отрицал за ним значительного таланта, умения своеобразно и остро доказывать свои положения... В лице Шпенглера мы имеем дело с незаурядным литературным явлением... Утверждает он и отрицает с одинаковой силой темперамента... С удивительным мастерством, какого я никогда не встречал в историко-философских сочинениях, он умеет извлекать из одной и той же основной темы сотни вариаций. Его изобретательность в деле подыскания эпитетов и прилагательных совершенно неисчерпаема. Одно и то же явление он умеет разлагать призмой критического анализа на десятки составных красок, никогда не впадая в повторение или банальность" (Браудо). "Книга Гибель Запада - несомненно, литературное событие... Замечательная книга" (Шиковский). Так говорят авторы "Начал", авторы "Берега" чуть что не обижаются, что Шпенглер отбивает у них хлеб, - тема так близка им, изложение так очевидно построено "по-ихнему", что кое-кому кажется, что другой пишет на его собственную тему, на которую не имеет решительно никакого права. Бердяева и действительно стоит пожалеть, - этот предсказывает и предвидит лет пятнадцать под-ряд: и (какая неприятность!) лавры и слава пророка достаются какому-то Шпенглеру, а не Бердяеву. Бердяев так и пишет: "Еще до мировой войны я очень остро ощутил... наступление конца... мировой эпохи..." и ссылается на ряд своих книг. О, счастливая простота!

Книга, по словам Браудо, действует на читателя гипнотизирующе, - раз за разом, нетвердый разум сваливается в гостеприимное красноречие, не жалеющее эпитетов, - изловленный становится адептом и напрасно его уверять, что суть Шпенглера в новом подходе к истории и ее философии, как это делает Шиковский; "пророческая" суть доминирует над любым интеллектуальным достоинством Шпенглера: она всеобъемлюща, она единственно правильна - контуженному разуму - и вывод, приведенный с недоумением Шиковским: "наша гибель неизбежна", - естественно воцаряется в читателе. Призрак танка плывет над Рейном, вовсе не призрачные французские войска завтра займут город и потребуют золота и угля, телефон и железные дороги бастуют: - наша гибель неизбежна, честь и слава Шпенглеру, который предлагает по крайней мере умереть мужественно.

Этот обыватель, который назвался Шпенглером и убежденно, "заносчиво и надменно" (Степун) кричит о своем бессилии что-либо поправить в расстрелянной стране, с которой поступают так же милостиво, как и она поступала, когда имела возможность быть милостивой, а не выпрашивать милости, - не сразу пришел в это отчаянье. Он пробовал учиться у "великих" своего времени, - он преклоняется перед рядом имен, - это Шопенгауер, Вагнер, Ницше, Маркс, Дюринг, Геббель, Ибсен, Стриндберг и Шоу (Степун), - и тут же уверяет, что философии нет, что искусство кончилось в Европе, что культуры ныне нет никакой, есть только мертвая "цивилизация". Сплошь, одно за другим встречаете вы в описаниях шпенглеровского мышления то того, то другого из перечисленных авторов, а всего чаще тех, кого он забывает упомянуть и видимо относит к числу конченных людей. Он выпоен и выкормлен на тех антимониях, которые развертывало мышление Европы за последние десятилетия. От обывателя требовалась

тонкость и "проникновение": - он проглотил все, ему предложенное; - но обыватель не только эстет, он хочет жить - за раскрашенными сводными картинками эстетизма не оказалось ничего (за покрывалом Изиды - пустота): он проклял свой эстетический модус, объявил совершенное - ничем, ибо оно ничем не кончается, - он проклял время и место, где он живет... но ведь все это пока лишь словесные жесты, на которые действительность не привыкла реагировать. Если же она и этого не слышит, очевидно она мертва: покинем душевно ее. Но трагедия Шпенглера в том, что мир не слушается никаких проклятий и истерик расставаний, и вся неразрешимость мирового тупика от этого для предсказателя только обостряется. Поэтому ему и суждена профессия пророка, как нашему Бердяеву. А в крайнем случае выдуманное Шпенглером мироощущение годится для игры в прятки со своей собственной особой, на манер анекдотического страуса: спрятал голову - и все благополучно. Так и прячут голову ныне повсюду, - кто в Шпенглера, кто в антропософию Штейнера, который, говорят, тоже ужасно какой талантливый и обворожительный. То же наплывает и у нас, и в Англии. Игра в солдатики - серьезная игра: она стоит много денег и много крови, она портит затем и кровь и деньги. Кровь становится водянистой, деньги - бумажными, плохо жить в этаких посылочках. Но, к сожалению, эту плохость никак не исчерпать при помощи проклятий любого сорта и свойства, - и даже Шпенглер приходит к необходимости провозглашения примата работы и технического творчества, но его работа - своеобычный наркотик, может быть, это и по плечу Бальзаку и Флоберу, но мир жить наркозом работы не сможет и не захочет. Шпенглер с досадной дотошностью пристает к миру: "в чем дело? как? зачем? почему?" - ответов нет, и тогда из "зачем" выползает иудино слово "жить незачем". В письмах Флобера после франко-прусской войны с негодованием описывается подобное же настроение, - а мы можем легко вспомнить такой же примерно душевный ад после 1905 г. в России. Принципиальное сверхчеловечество (дрянь и гадость чуть вроде ложноклассицизма), гениальность и небывалая чуткость всех и каждого правильно ведут по этой дорожке. Любой скептик из ненавидимых Шпенглером модернистов больше человек, нежели он сам, - ибо метод эстетический модерниста - только метод (и философ не обязан быть дураком, как говорил Шопенгауер), его болтовня о жизненности метода только метонимия, - обыватель-Шпенглер объелся этим методом: метод им усвоен, - но только один метод. Дыра душевная незаткнута, ибо методом ее не заткнешь: велика. См. еще письма Ал. Тургенева о войне 1812 г.

Диву даешься, читая наших излагателей, с какими пустяками преподаватель реального училища думает въехать в вечность. Рядом с ним, через стену другой обыватель обучал мальчишек истории, - и Шпенглер честно записал рубрики учебника. Вот тебе древняя история, вот средняя история и далее - по Иловайскому. Описание мировоззрений античности до такой степени лезет куда-то вбок, что становится странно за читателей и почитателей. Все же, что в подтверждение деревянных схем, надеваемых им на древность, говорится о математике, до того странно, что об этом как-то неловко серьезно говорить. Браудо отмечает это, говоря: "придавать какое-либо серьезное научное значение историко-философским построениям Шпенглера я не намерен, и считал бы своим долгом обратить внимание всех будущих читателей Шпенглера на крайнюю легковесность научного багажа этой книги... Недавно солидный философский журнал Логос выпустил целую полемическую тетрадь против (Шпенглера)... в которой различными специалистами разоблачались ошибки в книге".

Устанавливая "органичность" каждой культуры, т.е. - много проще - естественную связность эпохиального мышления, связанного бытом, мениском науки и проч., Шпенглер, "портретируя" античность, - проще: подгоняя ее под свою довольно узенькую схему, говорит, что мысль античности не выходила за пределы чувственного опыта и конкретностей, тогда как в нашей культуре царствует обезвещивание, взаимоотносительность явлений, ньютоно-декартовы функции, символика бесконечно малых и так далее. По его мнению, Эвклид - только оптичен, а иррациональное число для

античности казалось "таинственно зловещим" (Браудо), что и подтверждается соответствующим мифом. Последнее подтверждение только смешно: мифами, пословицами и цитатами можно доказать все, что угодно, только умей их подобрать и не стесняйся пропускать или искривлять противоположные. Из этих примеров явствует, что история математики для Шпенглера замерзла на курсе реального училища, который курьезно обрывается на Эвклиде в простейшем изложении. Говорить, что феноменальный - для нас и невообразимый - ум Архимеда, например, не мог оперировать с иррациональностями и что они казались ему "таинственно-зловещими" может только человек, существенно некультурный и совершенно непонимающий смысла истории математического мышления, истории, за которую он так жадно цепляется. Уже не говоря о выводе соотношения между радиусом и окружностью, о вычислении объема надводной части плавающего деревянного параболоида, о знаменитой задаче удвоения кубического жертвенника (задаче, решенной помощью конических сечений Менехмом) - Архимед, да и любой грек, знавший Пифагорову теорему, сталкивался с иррациональностью числа, вычисляя диагональ квадрата со стороной, равной единице, которая по этой теореме равняется квадратному корню из двух, который есть число иррациональное и не может быть выражена никаким конечным числом. С теми же знаниями Шпенглер подходит и к дифференциальному исчислению, "изобретение" которого ему кажется некоторым поворотным пунктом в истории математики, и которое он никак не может уложить в органический ход математической мысли. Эта точка зрения весьма характерна как раз для математиков возрождения, - про Лейбница в связи с дифференциалами и его неуверенностью в данном методе говорили: "Лейбниц построил дом, в котором сам боится жить", отголоски этого настроения, которое характеризовалось тем, что анализ бесконечно-малых подозревался в какой-то сверхестественности, слышны в назывании выражения dx/dy: "дэ икс по дэ игрек" вместо "дэ икс на дэ игрек", как обычно говорится про дробь, ибо "изобретатели" дифференциалов боялись уверять, что это выражение есть дробь. Примерно в том же круге суждений живет и Шпенглер, что, конечно, чересчур скромно для современного "мыслителя". Математик Лоренц с другой стороны рассматривает этот миф, как указание на то, что пифагорейцы прекрасно понимали огромную важность роли иррациональностей в мировом процессе. Наконец, одно из сочинений Архимеда "Псаммит" специально занято доказательством того, что человеческое представление о бесконечности больше (фактически), грандиозней любой данности, какую бы часть вселенной эта данность не охватывала бы и на какие сравнительно-ничтожные составные части она не делилась бы.

Шпенглер, видимо, старается всюду подчеркнуть разницу между конкретной и наглядной, "телесной" математикой древности и "отвлеченной" математической мыслью нашего времени (Франк), но разница эта существует лишь в его анти-математическом уме. Пользование абстракциями характерно для любого логизирования, для математического в особенности - и на пространстве всей истории математики абстракция всюду занимает почетное место, но она есть в этой дисциплине - метод и не более того. Как бы ни были отвлеченны наши суждения о строении атома, напр., как бы ни относили эти суждения пугливые мудрецы к мирам существенно-иллюзорным, - без этих суждений невозможна конструкция некоторых аппаратов радиотелеграфа, последний аппарат есть конкретность высокой квалификации... а суждения об инфра-мировых явлениях покоятся на соответственном математическом фундаменте. Шпенглеровский научно-математический релятивизм - основное недоразумение его философии. Можно сказать, не боясь обобщения, что философская мысль в общем и целом, всегда покоится на научных - а, следовательно, математических - предпосылках: идея процесса, как непрерывности и прогресса, выросла из учения о непрерывном толчкообразном движении, об интеграции бесконечно-малых отрезков пройденного пути, из учения об интегрировании, как выделении основной тенденции ряда подобных явлений. Отсутствие такого постулата у Шпенглера и есть характерный признак его "философии" - какая без этого обращается в

простейшее резонерство, одинаково а-гуманитарное, как бы ни было талантливо его изложение. Но наш умник Бердяев, конечно, перешпенглерил и самого Шпенглера. По его мнению, Шпенглер тем плох, что не сознает, что "христианство сделало возможным фаустовскую математику, математику бесконечного": очень остроумно, - хоть можно мыслить и еще тоньше, - не христианство предопределило фаустовскую (ну, напр., решение кубического уравнения Карданом) математику, а математика, имея возникнуть во тьме времен, постулировала египетское учение Эхнатона и примат единобожия, который... и т. д. Как жаль, что сложный и неповоротливый аппарат теогносического мышления чуточку тяжел для нашего неврастеника Бердяева! - какой бы из него Аквинат вышел, коли бы не это.

Но Шпенглер, однако, мог бы базироваться - по видимости - на новейшей математике со своим релятивизмом. Он, надо полагать, это и делает, только вряд ли это доходит до его излагателей, не-математиков. Новейшие работы математиков, - логистов, и разрабатывающих учение о трансфинитных числах изумляют непосвященного необъятным количеством парадоксов и алогизмов, к которому эти работы приводят. Немало таких "заумностей" и у Эйнштейна. Но чтобы не забираться далеко, можно сказать попросту, - относительность логики, - будь она установлена хоть завтра в полном объеме, - никак не разрушает единства космоса и разрушить его, разумеется, не может: вполне мыслимы пространственные (а следовательно и мыслительные) системы, для которых логическая связь событий мыслится в иных формах, которые определимы иными формами восприятия. Будем апеллировать к теологии, столь милой сердцу наших теологических эстетов а-ля Бердяев (Шпенглер ведь то же "ихний", - "это нашего стиля книга", говорит Бердяев): идея истинной бесконечности (в канторовском смысле) - Абсолют, Бог, всегда наделялась особой не-человеческой логикой (и вытекающей отсюда моралью), но раз мыслимы две логики, то возможно и бесчисленное множество их в порядке натурального ряда. Острота новой математики направлена, конечно, не сюда, - ее основное: разрушение процессуализма, как такового, "мощность группы всех функций более мощности группы непрерывных функций" у Бореля, это и есть новое миросозерцание, которое "предвидели" наши "пророки", - недоумкам-старичкам естественно кажется, что все кончено. А блазированный их эстетизм, ни разу не давший им ознакомиться с богословами просто, как с мыслителями, - их веру заменил по существу обрывками вульгарных предрассудков, суеверием. Поэтому на шпенглерианство всех толков известие о разложении Резерфордом алюминия должно действовать панически: - они ничего не имеют против черной и белой магии, какими бы способами та ни пользовалась и чего бы ни достигала, но магия в лаборатории ученого бросает их в холодный пот, - помилуйте, все тайны раскрыты, - а мы то что же будем делать? Как должно быть завидует такая пародия на человека - корове, для которой никаких тайн вообще не существует, а все не-ядущее (все вегетарианцы) и несъедобное просто признается алогичным... Или: "Непрерывность пространства не является необходимым следствием непрерывности отдельных участков (составляющих) его" - у Кантора и пр., и пр. Можно было бы также указать на то, что вся "трагедия" Шпенглера просто растерянность плохой головы: - ощущение новой культуры у него есть, но управиться с этим ощущением он никак не может.

Но все же, что думает "Берег" о Шпенглере? Итак: большой артист (Степун), пессимист (Букшпан), безусловный скептик (Степун), ритор ("в основе Заката Европы... лежит организм слов" - Степун), релятивист, позер ("пафос позы"), упадочник ("быть может, Шпенглер вовсе не пророк, а только пациент современной Европы в безответственно взятой на себя роли пророка" - Степун), эпигон (Франк), надлом, кризис рационализма (Букшпан), мысли Шпенглера - бесплодны (Франк), призрачны и бесплодны (Букшпан), "дразнение разума" (он же), "творчество Шпенглера как-то нерешительно витает в промежутке между блазированным эстетизмом и... и пр.", "горячий, благородный и тоскующий эстетизм" (Франк)... И с другой стороны: "это наша

книга". Степун - остроумный баловник - рассуждая о Шпенглере, много говорит о портрете вообще, по его мнению портрет должен быть сразу похож и на модель и на автора; что до последнего, четыре портрета Шпенглера в "Береге" - хорошо рисуют наших авторов, сразу видно какие это устойчивые, крепкие и положительные люди. Любопытна та аналогия, которую проводят авторы "Берега" (да наверно и сам Шпенглер) между Гетевским и шпенглеровским мышлением: "Гете интуитивно созерцал первофеномены природы, Шпенглер интуитивно созерцает историю, первофеномены культуры" (Бердяев). Возможно такое толкование этих параллельных процессов: и Гете и Шпенглер берут каждый свою феноменальную данность, как отражение искомой действительности, жизни, мира. Однако на это приходится возразить так: раз необходимо искать для природы и истории объединяющий момент, их разница - и существенная - становится очевидной уже из одной этой необходимости. Дальше, первофеномен природы может служить некоторым субстанциональным субстратом созерцанию, тогда как "первофеномены культуры", явления исторические не могут быть познаваемы, как онтологические данности, под каким бы архиэстетическим соусом все это не воспринималось. Карфагеняне Флобера суть лишь эстетические организмы, лужайки Бальзака носят на себе явные следы патетического мироощущения, характеризующегося не только построительными достоинствами. И это так не потому, что Флобер и Бальзак разные люди, - возьмите грешницу и волка у Альфреда де Виньи, и вы получите те же результаты. Художественно воспринятая история есть диссолютивно воспринятая данность, обратно - художественно воспринятая природа обращается в синкретическое состояние духа, независимо от того, возможно ли вообще выделить из этого материала основной стержень суждения или нет. Наконец, эстетический историзм может быть только тропом, и тогда он только топик. К тропу вообще и сводится историзм Шпенглера. Эстетически морализующий историк, Шпенглер, - не художник, не философ, не ученый историограф, - он коллекционер ощущений, набранных профаном в этих различных областях, ощущений, ничем по существу не объединенных и потому действующих на своего держателя разлагающим образом.

У всех авторов "Берега" есть одно основное положение, нигде, однако, полностью не высказываемое: - явление может быть постижимо лишь при наличии духовного сродства между ним, явлением, и воспринимающей его системой. Пойдем с этим предположением в лабораторию Рентгена, впервые увидавшего на пластинке снимок, проецированный икс-лучами. Явление это во всей его оглушительной новизне, - требует ли оно от случайного оператора особой психической связи с ним или оно удовлетворяется для своего абсорбирования человеческим умом лишь последовательностью логики, - опыт показывает, что экспериментатор в полной мере устроен вторым положением. Нельзя же в самом деле думать, что шпенглеровские концепции в такой мере сложны, что для них и катодной трубки мало. Наконец опыты Майкельсона и Морли, Лоренца и Фицджеральда, - требовали ли они ангелического подхода к своим неизъяснимостям? - нет, они удовольствовались для проникновения в наш разум обычными с точки зрения философа синтетическими суждениями. Но даже и не споря с приведенным выше положением, надо всячески бороться с обращенной теоремой: - восприятие (даже объяснение, схематизация даже) обнаруживает существенное сродство меж воспринятым и воспринимающим. Ведь здесь раньше всего надо спросить, - а что есть истинное восприятие и как вы различаете истинное восприятие от восприятия неистинного? Если это делается "интуитивно" ("мне так кажется"), то ведь этому еще позволительно и не поверить, а такое сомнение в корне разрушает все последующие схематизации. "Бережане" уверены, что раз Шпенглер изъясняется красиво, красота его благородна и тосклива, следовательно, ему можно простить и очевидное бесплодие его размышлений. Но ведь можно начать и с другого конца: поскольку в результате этот эстетический сумбур оказывается бесплодным, постольку метод сей мне кажется - шарлатанством. Вопрос другой - сколько сознательно такое шарлатанство, может говорить о том, что Шпенглер болен помрачением

культурного сознания, что и вызывает в его душевном мире рождение такого скорбного листа культуры, что та социальная энтропия, которую он выдумал (именно: выдумал), есть явление временное, вызванное к жизни новой эпохой, начало которой уже ознаменовано катаклистическими социальными судорогами.

Но и у "бережан" легко найти не мало подтверждений этим мыслям, - Шпенглер несвязен, говорит Франк, - "в своих исторических конструкциях... (он) делает шаг назад - с чисто формально методической стороны - даже по сравнению с ходячими, ординарными историческими представлениями". То выравнивание, которое производится Шпенглером над своим материалом, как говорит Франк, та "абсолютизация по существу относительных категорий" - операция очень характерная для резонеров его типа. Необходимость таких-то и таких-то положений постулируется для Шпенглера некоторой странной одержимостью (это-то обстоятельство и приводит в восторг тех, кто славословит его, как пророка), повышенной чувствительностью ко всем колебаниям духовной жизни коллектива, которые оказывают на него какое-то каталитическое действие - в таком случае вопрос исчерпывается выяснением того, поскольку эти реакции жизненны и общеполезны. В этом плане и можно ответить "бережанам" - может быть, вы и правы, друзья, аналогизуя меж Гете и Шпенглером, но одна художественная одержимость не переходит в манию преследования и не разрешается в ряд бредовых идей, - и тогда она Паскалевские "esprit de finesse", "esprit de jugement", а другая, как вы ни называйте ее - художественная метафизика (чудная новость, - а Платоновская метафизика разве не эстетична?), интуиция по Бергсону и все, что хотите - она выливается в простейшее маньячество, и художественного интеллекта хватает лишь на грубое оформление ее, безо всякой обработки первичного материала.

Как-то неблагополучно у Шпенглера по части религии. Его тоскливость кое-где, как будто, основывается, на его атеизме. Культура умерла, а культура религиозна... как будто в этом роде идет аргументация. Все наши "бережане" на это сетуют и головой покачивают, - большой мальчик, известность можно сказать, а в церковь не ходишь... "В Шпенглере поразителен вообще религиозный идиотизм" (Букшпан), "где он говорит о религии, она является у него либо в роли только духовного материала, формируемого силами эстетического порядка, либо подменяется эстетической метафизикой" (Франк), - и тем не менее Степун определенно называет его мистиком. Тут и вырисовывается привлекательный образ этого безрелигиозного мистика, либо мистического атеиста, но ведь он "парадоксалист" по Бердяеву. Итак: культура умерла, чудеса сданы в архив, - осталось на всех мистиков одно чудо: смерть мира, - оно-то и обрабатывается по способам мистическим, но арелигиозным, - что за отвратительная каша!

Россия тоже здесь. "Сущность России есть - обетование грядущей культуры" (Букшпан). Но что это за Россия, - это вреднейшие эстетически воспринятые мраки Достоевского, русская экзотика, тяжелый, с трудом изживаемый груз азиатчины, повисший нам на плечи, которым развлекается мистико-релятивистский эстет Шпенглер. К Достоевскому надобно относиться с величайшей осторожностью, ведь, он формируется из ряда взаимно-исключающих настроений, создающих в результате такой мрачный хаос, до которого не всякому Шпенглеру додуматься. Тут: тема и игра с ней, фотографическое закрепление со всей силой изобразительности художника, тут сентиментальное вскрытие данности, страшное своей неожиданностью и чисто случайным в каждом случае появлением, тут отчаянная артистическая энергия, резкая форма, - и, наконец, сардоническое разложение мира, проникающее все построения. Хаос мировой жизни мрачно подменяется хаосом микрокосма, - жизнь подменяется разложением, сардонические силлогизмы, накопляясь, постулируют полную свободу автора порывать с любой конкретностью, как организмом. О такой России вздыхает Шпенглер, но теперь она не узнает своего Фальстафа. И это так, несмотря на предупредительную радость Бердяева: "и мы! и мы!" - они, оказывается, тоже "борятся с духом мещанства" (какой аристократ - Достоевский!) и с "духовной буржуазностью" - приятно видеть именно у

Бердяева этот обгрызанный термин. Принадлежность к данному классу определяет мироощущение... последний кусочек определения обрывается и уже, оказывается, в праве рассчитывать на самостоятельное бытие, - талант, талант!

Попробуем подвести кое-какие итоги.

Шпенглеровская "физиономика", "духовное портретирование" - всего лишь ловкий вольт философического шулера, его портреты - карикатурны в высшей мере, - характерные черты, выдавленные из модели, в этой карикатуре разламывают самое модель, сводя ее до роли носителя таких-то, полюбившихся портретисту деталей. Если культура есть сущность духовной жизни эпохи, а цивилизация - раскрытие этой сущности на ряде конкретных выполнений (Герц - культура, Маркони - цивилизация), то только силлогистически можно противоставлять одну другой, опять-таки это дело карикатуриста и маньяка. Смысл цивилизации? - а каков был смысл больших египетских пирамид, сооружение которых разоряло государство и толкало его на революции или разграбление соседями? Ведь это-то, кажется, - весьма "культурные" построения.

История - ряд замерших и незаконченных внутренно эпизодов по Шпенглеру. Эти эпизоды он подвергает насильственному синкретированию внутри их самих. Так родятся эти мрачные гомункулусы исторических "физиономий" - иррациональные постольку, поскольку рассудок во всей операции занимает чисто служебную роль: выделения намеченных "интуитивно" ингредиентов и оживления их. Этот якобы философский метод должен приводить исследователя в тупик. И беготня Шпенглера из тупика в тупик, из положения - культура осуждена, - к тому же точно: "мы гибнем", и обеспечивает всем его построениям, чего бы они ни касались, именно это характерное бесплодие, удивляющее излагателей. Вся его философия заключена в раскрытии предпосылки, как вывода: небольшое дело, как это делается, вопрос в том, стоит ли этим заниматься?

Интуиция Шпенглера ставит себе задачу: отрешившись от любых априорных суждений, внедриться в явление чистым и голым изыскателем, задача неразрешимая в плане истории и нелепая для философа, - отсюда та спутанность Шпенглера и его туманные термины в роде "душа культуры", "Urseelentum" имагинационного типа, которые выкидывает подсознательный мир, заваленный страхами и ужасиками. Здесь Шпенглер впадает в чистое дикарство со своей интуицией - и его "душа культуры" немногим лучше любого фетиша, олицетворяющего грозную и совершенно непостижную фетишисту волю и силу.

"Судьба" Шпенглера - другой фетиш с совершенно неочевидным содержанием, где "тонко" различаются физическая необходимость умирания и трагическая безысходность того же самого процесса. Очевидно, что это различие коренится в постулатах, а не в явлении. Теософией бы Шпенглеру заниматься, а не инженерией. Абсолютистское представление о "судьбе" ведет к разложению исторической точки зрения - ибо разлагает самый процесс, подвергнутый рассмотрению. Нет, конечно, необходимости неизбежно навязывать историческому процессу обязательную непрерывность, но ведь это и делается нами в порядке рабочей гипотезы, не больше, - но нет с другой стороны никакой трагедии в том, что исчезновение идеи процесса из нашего сознания заставляет (или заставит) мыслить процесс прерывным. Из этого вытекают, между прочим, и многие другие спутанности, - что такое пресловутая "фаустовская" культура, ведь остается неясным. Шпенглер, между прочим, с великой легкостью перескакивает от самых туманных терминов к конкретности. "Смерть культуры" произошла в таком-то году, открытие дифференциалов совпадает с кончинами "последних великих" живописцев. Грубость таких сопоставлений не оставляет желать большего.

Характерной кажется растерянность "бережан" перед Шпенглером. Философы не знают, что им делать с человеком! А ведь шум, поднятый около Шпенглера, говорит о том, что это многим близко и дорого. Мрачная трагедия расстрелянного мира... где они от нее прятались так ловко, что вовсе проглядели? Ведь Шпенглер не философ, не художник, - это трагедия читателя, не писателя. Читателя, обвиняющего своих писателей - в а-

человечности. И пережитая война говорит, что материала, по крайней мере, для таких настроений накоплено более чем достаточно. К сожалению, надобно сказать, что этот хаос безвременных путаниц - разрешить может только тот же читатель, - но дело ли "учителей" гутировать болезнь читателя и только копаться в ней?

И в конце концов приходится признать, что читатель все же как-то здоровее своих учителей. Он тянется в конце концов к строительству: к инженерии, тянется к творящему человеку, к крестьянину. Ведь он задохся в эстетических и гносеологических констатированиях: "когда старейшины молчат, тупых клыков лелея опыт, - не вой ли маленьких волчат снега замерзшие растопит?" (Асеев). И таким образом - симптоматическое значение Шпенглера чрезвычайно велико, несмотря ни на что, ни на его нелепости и безграмотщину, ни на тот хаотический морфоургический феноменализм, который он называет философией. С инженерией у Шпенглера опять недоразумение: именно технические революции и предопределяют новые культуры (каменный век - бронзовый век) - и с точки зрения боязни нового нужно бы советовать бросить инженерство, а не звать к нему.

Мрачно и тяжело опоминается мир от кровавого потопа мировой войны. Но он должен опомниться и опомнится! Но Шпенглер и шпеглериане вряд ли опомнятся, - их-то гибель неизбежна. В ощущении гибели такого сознания - все очарование Шпенглера.